

Арман Лану

Толстой и сердитые молодые люди

В последний раз я встретился с Камю на Университетской улице, у стендса «Нувель ревю франсез». Он говорил о Золя и Толстом с искренним, горячим и глубоким восхищением. Камю не разделял того снобизма, с каким иные обрушаются на классиков, и тем яростнее, чем талантливей этот классик: на Бальзака, Гюго, Диккенса или Толстого. Камю не был на стороне сердитых молодых людей.

И вправду, так легко обратить в недостаток то, что на самом деле — мощь, широта замысла, умение воссоздать целые пласти жизни народов, понимание их трагедий, осознание постепенного хода истории, воплощение ее живой протяженности в романе. Обратимся к Толстому — сколько кричат о растянутости, условности его произведений, сравнивают их с «романами-фельетонами». Очевидно, исходя из своих изысканных теорий, эти обличители считают смертным грехом классиков уже то, что их в состоянии читать все. И действительно, могут ли вдохновить этих денди, этих апостолов бессюжетной литературы, романов без характеров, без персонажей, без фабулы (да это же прямой упадок интеллекта, фабула!), могут ли, повторяю, вдохновить их художники, которые населили добрую сотню книг целыми народами! Да ведь такой труд под силу только мощному таланту. Где они, великие грузчики нашей Литературы? Их-то силы как раз и не хватает современному роману.

Урок, который мы извлекаем сегодня, отмечая пятидесятилетнюю годовщину смерти Льва Толстого, должен прежде всего предостеречь нас от малярности в искусстве, от тех, кто, не желая вмешиваться в общественную жизнь, сознательно замыкается в своем творчестве; урок этот напоминает нам одну простую истину: объем произведения и его связь с жизнью тоже не последнее дело. Толстой возродил в нас способность восторгаться эпопеей. Это-то и почувствовал Альбер Камю. Он жаждал великого.

Сегодня мода на стороне произведений со скучным содержанием и малым объемом. «Мелкие вещи дольше живут...» Не будем от них отмахиваться. И они нужны, и они играют свою роль. Но

произведения без поисков, пусть даже исследующие психологию человека или научно-технические проблемы; обречены на смерть из-за отсутствия кровоснабжения. Нужны и Кафка, и Бютор, и Кэтрин Мэнсфилд¹. Однако стоит ли из-за этого выстраивать заново все перспективы? Любовь лишь к редкому или необычному — один из основных пороков любой эпохи, окрашенной эгоизмом.

«...Спокойствие — душевная подлость». Эти слова Толстого помогают выявить зло. Поскольку литература — это вечное осознание нового, то усиленный интерес к самому себе, к сладостным мукам собственного внутреннего мира или к находкам чисто формального порядка — ох, уж эти романы, написанные от третьего лица! — чаще всего оборачивается лишь одним из способов бегства от жизни. В этом повышенном интересе — страх перед жизнью и перед миром, в котором мы слиты со всем окружающим, в котором мы существуем, который нас пронизывает и перед которым мы в ответе. А не дезертирство ли?

Само собой разумеется, всякий художник волен выбирать себе тему и в свойственной ему одному манере воплощать ее — это так же естественно, как и то, что яблоко падает на землю. Реверди, кричащий от отчаяния, обессиленный пульсацией собственной строки,— бесспорно, большой писатель. Не обязательно было умирать, чтобы об этом узнали. Равно как и Антонену Арто². И тот и другой просто не могли писать иначе. Каждый поет то, что у него на душе. Все это верно. Но как не увидеть, что зло не в тех, кто не желает восторгаться лишь исключительным, индивидуальным, патологическим,— всех этих любителях эффективных волей, чье безразличие к человеку укрывается за дешевой ширмой: «Смотрите, смотрите, до чего же мы любим человека. Нет такого закоулка в сознании, нет такого нервного потрясения, такого оттенка шизофрении, паранойи или вызванного наркотиком состояния, которые бы оставили нас равнодушными».

Человека они любят. С обнаженными нервами. Безумного. Они не любят человека, работающего бок о бок со своими братьями. Перед эпопеей у них опускаются руки. Как раз этот-то интерес ко всему исключительному и приводит их к тому состоянию покоя, которое так резко осудил Толстой.

Литература состоит из тех, кто пишет, и тех, кто читает. И если бы первые упорно исключали из своих творений любой эпический элемент, любой мотив всеобщности и братства людей — они предали бы человека. И тут-то во весь рост обнаружился бы их эгоизм, столь искусно скрытый за изысканными пристрастиями и утонченными соболезнованиями.

Празднование всяческих юбилеев, несмотря на известную искусственность подобных мероприятий, имеет и свою положительную сторону: они высвечивают и самого художника, и его

творчество. Важно заметить, что пятидесятилетие со дня смерти Толстого приходится как раз на период увлечения преизностью, преклонения перед формой, гонгоризма³.

Мир Толстого богат и всеобъемлющ; мы учимся у него масштабности, щедрости и вдохновению; талант его — прекрасный пример уподобления гения своему народу. В романе «Война и мир» частное и общее сплавляются в огне горящей Москвы, который освещает и преображает судьбы двух семейств. Как живой встает перед нами Кутузов, воплощающий в себе русскую душу, и родственный ему образ Наташи Ростовой, падленной, казалось бы, всеми чертами «героини романа» и вместе с тем такой неповторимой, такой незабываемой. Люди разные. Народ единый. История. И как бы ни кривились сердитые молодые люди при упоминании о «Войне и мире», роман этот по-прежнему «в цене», пользуясь пошлым термином, вошедшим в моду.

Но, приблизившись к творчеству Толстого через торжественные врата юбилея, можем ли мы не увидеть, как щедро объединяет он индивидуальное и всеобщее, филигрань деталей и эпическую мощь! Ибо этот гигант, который умел любить весь свой народ в целом, умел при этом передать всю прелесть неповторимости человеческих судеб.

«Война и мир»? Да. Однако все творчество Толстого могло бы называться «Жизнь и смерть». В противоположность испанскому «Viva la muerte!» * смерть вдохновляет художника в той же мере, что и жизнь. Одна как бы перекликается с другой. В творчестве писателя они ведут тот же диалог, что и в его жизни. Еще Горький заметил, что тема смерти стоит в центре творчества Толстого. «Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать?»

Именно смерть гонит его и подстерегает в домишке начальника станции в Астапове. Ей, смерти, смотрит он в лицо, когда, уподобляясь герою своего произведения⁴, повествует нам об одной агонии:

«И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто,— подумал он.— А боль? — спросил он себя.— Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет».

* Да здравствует смерть! (исп.)

Этот прекрасный отрывок может прийтись кое-кому не по вкусу. Подобное вмешательство писателя-демиурга на первый взгляд кажется легким. Но вскоре появляется Азраил. На наших глазах писатель перевоплощается в своего персонажа, мистически предвосхищая собственную смерть! Смерть побеждена. Луч света. И в этом жизнь.

Всем большим художникам в равной мере открыт и внутренний мир человека, и внешний мир. Марсель Пруст — не исключение из этого правила: он провел через собственный мир целое общество.

Если наших сердитых молодых людей так отвращает в Толстом общественный пафос и народность его персонажей, то почему бы им не обратиться к внутренней трагедии писателя, почему не почерпнуть из нее то, что так мило им в поглощаемых ими, кстати сказать в ущерб желудку, произведениях? У Толстого они откроют для себя многое из того, о чем они и не подозревали. В конце концов, так ли важно, что пробудит интерес к писателю? Андре Жид, индивидуалист до мозга костей, признающий лишь субъективное начало, любил именно Толстого и Золя, любил за все то, чем они обладали и в чем ему было отказано. Может быть, тогда-то наши поклонники сверхизящного поймут, почему и Альбер Камю был в равной степени восхищен Золя и тем, кого Золя называл «великий русский». Дело в том, что Толстой и Золя придерживались одного нравственного принципа: «Борьба — вот смысл жизни!»

1960